



Тициан ТАБИДЗЕ

Андрей Белый

Андрей Белый и Александр Блок — «два трепетных крыла» русского символизма. Недаром воспоминания Андрея Белого о Блоке разрастаются в эпопею¹ и объемлют историю русской поэзии начала века. Это — не воспоминания в обычном смысле слова, а разговор с самим собой, наедине. В этой эпопее Андрей Белый вспоминает необычайную историю встречи двух поэтов, историю сиамских близнецов, которым потом пришлось вынести на своих плечах последующую поэзию; здесь в качестве действующих лиц выступают: петербургские туманы, снежная Москва и шахматовские зори.

Нередко Андрея Белого отмечают чертами гения — и это не только в узком кругу символистов, где впоследствии у него оказалось больше врагов, чем друзей, а совершенно в других писательских слоях.

Роман Андрея Белого «Петербург» до сих пор остается непревзойденным в русской литературе: Вячеславу Иванову показалось, что в петербургских рассказах Гоголя он нашел ключ к «Петербургу» и вообще к творениям Белого², но теперь становится ясным, что Андрей Белый открывает совершенно другие, до сих пор неизвестные шифры письма.

Влияние Андрея Белого на современную русскую прозу весьма велико, и вряд ли найдется сейчас писатель в прозе, который не прошел бы сквозь Белого, как раньше проходили сквозь Гоголя и Достоевского.

Недавно сообщалось, что выходит литературный памфлет Альвэка «Нахлебники Хлебникова»; по всей вероятности, автор будет пытаться доказать, что футуристы всех формаций — «Нахлебники Хлебникова», т. е. идут от него³. Однако это трудно будет доказать, во-первых, потому, что сам Хлебников косноязычным ушел в могилу, не успев выявить поэтические замыслы, которых у него безусловно было в достатке, а во-вторых, очень сомнитель-

на продукция оставшихся футуристов, чтобы в них искать кристаллизацию мутного начала Хлебникова.

С таким же правом многих писателей современников, включительно до футуристов, можно назвать нахлебниками А. Белого, но кормиться этим хлебом не так уже просто. И целые легионы этих эпигонов не могут перейти вброд и безнадежно засоряют литературу.

Для Андрея Белого символизм никогда не был фетишем, его ищущий дух никогда не мог остановиться на застывших формах искусства, подвиг его жизни и писательства — это открытие новых путей творчества. Ведь он не сейчас, а давно осмелел ортодоксальный французский символизм Малларме и Реми де Гурмона⁴. Он и призвание русского символизма видел в других откровениях и старался вскрыть его национальную природу.

Флобер думал, что мистицизм обуславливается отсутствием формы. «Если бы не любовь к форме, я был бы великим мистиком», — писал он кому-то, но и он все же предпочитал «жить, как обыватель, а мыслить, как полубог»⁵.

Из всех русских поэтов последних лет Андрей Белый больше всех занят формой. Ему принадлежат многочисленные труды о природе русского стиха; он на самом деле «проверял алгеброй музыку»⁶, ведь недаром он сын профессора математики и сам не на шутку учился математике, хотя знает, «что биология теней еще не изучена!» Ведь и он мог сказать, как Эдгар По, что поэму можно написать с конца⁷, как китайцы строят дом наоборот! Ведь недаром он свою последнюю книгу посвящает архангельскому крестьянину Михаилу Ломоносову именно из-за математики. Но знание формы не то что убило его замыслы, а, наоборот, оплодотворило их.

Воспитанному на французских символистах Иннокентию Анненскому казалось, что Андрей Белый пишет, не думая⁸, но ему не пришлось дожить до настоящей зрелости Андрея Белого, чтобы самому убедиться, как выстрадал писатель Россию в «Петербурге».

Кажется, что не один человек писал все эти вещи, порой так непохожие друг на друга: «Золото в лазури», «Возврат», «Симфонии», «Арабески», «Луг зеленый», «Сребристый голубь», «Петербург», «Котик Летаев», «Москва под ударами», «Записки чудака», «Эпопея», «Крещеный китаец» и др. Но все эти вещи проникнуты одним духом, хотя и написаны по-разному. Есть здесь какой-то суровый монтаж духа, что чувствует даже непосвященный. Здесь как будто нет жизни — есть одно сплошное вдохновение и слышатся:

Глухие времена стенанья,
Пророческий, прощальный глас...⁹

В России никто из символистов не был так подготовлен к Октябрьским потрясениям, как Андрей Белый и Александр Блок. Они на заре своей творческой работы почувствовали подземное течение и гул новых землетрясений: и Лиссабон, и Мессина¹⁰ только подчеркивали заранее виденное (в музыке этот путь проделал Скрябин), и они это почувствовали как прелюдию к Октябрьскому пролому.

Разве найдется во всей дооктябрьской русской литературе такое прозрение, как в «Петербурге». Это новый Патмос¹¹, откуда разносится голос возвещения:

«Милостивые государи и государыни!..

Что такое русская империя наша?»

И в «Петербурге» рассказана с потрясающей конкретностью эфемерность русской бюрократии и inferнальное бытие старого Петербурга. Здесь есть тоска о новом восходящем солнце. И Цусима, и Калка, и Куликово поле...

В «Петербурге» дан в еще невиданной форме 1905 год: «Когда в Кутаисе в театре публика кричала — граждане», а в Тифлисе околodочный нашел бомбы. Когда от Архангельска до Колхиды и от Либавы до Благовещенска слышится Октябрьская песня 905 г.

После «Петербурга» становится ясным и дальнейший путь Андрея Белого.

Раз как-то он до революции жизнь сравнил с мчавшимся поездом, у которого обезумел машинист. Поезд мчится с адской скоростью: в закрытых вагонах сидят пассажиры, которые не чувт грядущую катастрофу: здесь Чехов ноет и занят будничными делами, в окно выглядывает Ибсен в предчувствии катастрофы, но Гоголь в мертвой хватке уже вцепился в обезумевшего машиниста¹². И Блок и Андрей Белый жили в предчувствии грядущих бурь, и понятно, почему из всех видных русских писателей после Октября они остались в России и не расстались с народом.

Андрей Белый так выразил смысл Октябрьского переворота. Когда цыпленок вылупливается, над ним рушится небо — из разбитого яйца рождается новая жизнь. Ведь только филистеры испугались Октябрьских дней. Здесь слышится хвала новой жизни, а не то гадкое, смердяковское хныканье, «что цыпленки тоже хочут жить»¹³.

И Александр Блок в своих «Скифах» во время Брест-Литовска¹⁴ нашел слова, которые похожи на манифест Совнаркома в ленинские дни:

В последний раз — опомнись, старый мир!
 На братский пир труда и мира —
 В последний раз на светлый братский пир,
 Сзывает варварская лира...

И А. Белый почувствовал великий подвиг народа русского:

И ты, буревая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия,
Мессия грядущего дня!..¹⁵

Полного созвучия с современностью, может быть, у Андрея Белого и нет, но здесь именно и выявляется «маленькое неудобство профессии», а величие имеет еще больше неудобств. Но созвучность Андрея Белого гораздо больше приспособляемости и серединности т. н. присяжных попутчиков.

В последнее время Андрей Белый еще больше углубился в дебри творчества, он порой непонятен и для писателей, очевидно, он ищет новых симфоний и новых шифров, но литература идет по его магистрали, и никогда формалистам, в том числе и В. Шкловскому, не удастся обнажить приемы творчества Андрея Белого¹⁶.

Андрей Белый и Александр Блок — две кариатиды, которые держат на своих раменах дооктябрьскую литературу и которые нашли пути послеоктябрьской России, приветствуя в революции великое начало труда и мира.

